

КОШМАР В ПИССУАРЕ: К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ОДНОГО
ЭМИГРАНТСКОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Моника Спивак

В Берлин и обратно

Эмиграция Андрея Белого была недолгой и неудачной. Белый уехал в Германию осенью 1921 года. Несмотря на внешнее благополучие (активно публиковался, много выступал, неплохо зарабатывал), за границей он не смог прижиться и уже осенью 1923 года вернулся в Россию,¹ полностью в Западе разочарованный.

Причины эмиграции Белого были далеки от политических. Прежде всего он хотел быть ближе к своему учителю, основателю антропософии Рудольфу Штейнеру и – в гуще антропософского движения. Правда, антропософский центр находился не в Германии, а в Дорнахе, швейцарской деревушке близ Базеля, но туда русскому эмигранту попасть было сложно. Поэтому приходилось удовлетворяться Германией, где антропософская деятельность велась с особым размахом и где часто бывал Рудольф Штейнер. Существовала в Германии и русская антропософская эмиграция,² не очень многочисленная, но тоже весьма активная.

Русские антропософы ощущали себя полноценными бойцами эмигрантского фронта и стремились к расширению своего влияния на обще-

¹ Подробно об этом периоде в жизни и творчестве Белого см.: Beyer Thomas R. Andrej Belyj: The Berlin Years 1921-1923 // Zeitschrift für Slavische Philologie. Bd. 50. N. 1. S. 90–142. См. также: Malmstad J. Andrej Belyj at Home and Abroad (1917-1923): Materials for a Biography // Europa Orientalis 8 (1989), pp.425-480.

² О русской антропософской эмиграции и формах ее деятельности см: Maydel Renata von. Dornach als Pilgerstätte der russischen Anthroposophen // Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941. Herausgegeben von K. Schlögel. S. 295-303.

ственную и культурную жизнь. Другие эмигрантские группы и течения воспринимались ими как конкуренты, которых необходимо превзойти и обезвредить. О самосознании представителей русской антропософской эмиграции и об их восприятии русского Берлина красноречиво свидетельствуют письма-отчеты, отправляемые в Дорнах.

Так, в 1928 году сообщается, о тех выводах, которые можно сделать по результатам контактов с “цветом русской интеллигенции” в Берлине:

“Главные серьезные уклоны эмиграции и русских вообще” это 1. православие (т. е. церковь как таковая, в чистом виде с патриаршей властью во главе и Студенческий Христианский Союз с Франком, Зеньковским, Карсавиным и прочей писательской братией под благословением хитроумного владыки Евлогия) и 2. Евразийство. О Евразийстве мне хочется Вам как-нибудь особо написать, так как тут много таинственного и страшного. Православие может быть нейтрализовано, или стать дополнением, как культ и старая традиция; но евразийство – необычайно яркое, талантливо задуманное безумие и зло, и о нем через несколько лет придется говорить в общероссийском масштабе. Приходится тщательнейшим образом не только читать, но и штудировать их литературу [...] туда входят сплошь одаренные, наиболее волевые и – наиболее талантливые русские люди [...]. Большой настороженности в этом смысле потребует Прага – один из евразийских центров, – которая, несомненно, и станет одним из боевых мест русской работы по антропософии.³

В письме 1931 года – подобные же выводы, правда, на другом материале:

Русская общественность на мертвой точке. Характерно, что регулярные доклады идут только в еврейском объединении. Во главе – некий Штейнберг, выступающий в роли проповедника мессианства и с внешностью пророка. Подлинный ужас в том, что за ним – пустота, но лучшие евреи уходят в эту духовную смерть.⁴

На практике русские антропософы в Германии занимались работой, аналогичной той, в которую был вовлечен Белый в России: организовывали кружки для интересующихся и “продвинутых”, обсуждали труды Штейнера, выступали с рефератами и докладами как среди “своих”, так и

³ Письмо М. Э. Белоцветовой к М. Я. Сиверс от 26 сентября 1928 г. хранится в Дорнахе (Швейцария), в фондах архива “Rudolf Steiner Nachlassverwaltung”. Там же находятся остальные письма русских антропософов к М. Я. Сиверс, цитаты из которых будут приводиться ниже.

⁴ Письмо М. Э. Белоцветовой к М. Я. Сиверс от 2 декабря 1931 г.

для “большой” аудитории. В такого рода деятельности Белый-лектор мог быть особенно полезен, так как имел большой накопленный опыт. “Тактикой повышения престижа антропософии во внешнем мире я был занят весьма, укрепляя тональность приемлемости нас в культуре”, – с гордостью писал он. Успехи Белого на этом пропагандистском фронте отмечали в письмах-отчетах, направляемых в Дорнах, и руководители антропософского движения в Москве. Так, в 1920 году сообщалось:

В общем, в Москве около 60-ти членов, да еще в Петрограде [...] Борис Николаевич сейчас в Петрограде, пока он жил в Москве, он читал много лекций в О-ве и просто аудиториях о культуре человеческой мысли, кризисе жизни т. д., а также в О-ве курс гносеологии в стиле антропософии; приходили и посторонние, и таким образом идеи антропософии распространялись дальше.⁵

Или – в 1921 году:

...нам удается работать более продуктивно, и в наши два подготовительных кружка поступило много лиц, интересующихся духовными вопросами. Лекции Б. Н. Бугаева на антропософские темы, прошедшие с большим успехом, пробудили значительный интерес к нашему движению и привлекли многих в наш круг.⁶

Или:

Нами было устроено несколько публичных лекций, прошедших весьма успешно. Выступал главным образом Борис Николаевич.⁷

Можно сказать, что в 1921 году Белый отправлялся в антропософскую эмиграцию с хорошими рекомендациями.

Несмотря на трудности политического и экономического порядка, с начала 1920-годов связи между русскими антропософами в Германии и антропософами в России поддерживались достаточно регулярно. Антропософы-эмигранты занимались переводами работ Р.Штейнера на русский и переправляли эти тексты в Россию. Вероятно, это были именно те тексты, которые при арестах и обысках антропософов в Москве и Ленинграде пачками и сундуками изымались агентами ОГПУ. Помимо помощи духовной (литература, медитации), оказывали антропософы-эмигранты и материальную помощь своим собратьям в России – например,

⁵ Письмо Б. П. Григорова к М. Я. Сиверс от 2 мая 1920 г.

⁶ Письмо Т. Г. Трапезникова к М. Я. Сиверс от 17 марта 1921 г.

⁷ Письмо Т. Г. Трапезникова к М. Я. Сиверс от 20 апреля 1921 г.

собирали и отправляли средства, вещи, продовольствие голодающим. Например, в одном из берлинских писем в Дорнах сообщалось, что в 1922 году адресная помощь была оказана по спискам, полученным от К. Н. Васильевой и что сумма общественного сбора превысила 100 000 марок...

Русская антропософская эмиграция была тем каналом связи, через который шла информация в Дорнах об антропософской жизни в России и обратно в Россию об антропософской жизни на Западе. “С большим волнением и интересом прочли сообщение о тех лекциях и работах, которые происходят в Германии и Швейцарии в духе нашего движения. Сведения эти мы получили от одного из наших членов в Берлине”, – писал 17 марта 1921 года председатель Московского общества Т. Г. Трапезников. Он же недвусмысленно выразил и общие чувства, владевшие в этот период московскими антропософами и сводившиеся в целом к желанию эмигрировать:

Все мы живем только одной мыслью – приехать в Дорнах и услышать Доктора, но вряд ли многим из нас удастся в скором времени попасть за границу. В настоящем времени приходится нести не только свою судьбу, но и судьбу народа, к которому принадлежишь...

Действительно, “попасть за границу” удалось немногим, но среди них был и автор этого письма, и ряд других деятелей антропософского движения, в частности – Андрей Белый.

Помимо духовной тяги, Белого влекли на Запад и причины личного порядка: стремление воссоединиться с нежно и страстно любимой женой Анной Алексеевной Тургеневой. Роман Белого и Аси (так ее все называли) начался в 1909 году; в 1912 году они вместе вступили на путь антропософского ученичества у Рудольфа Штейнера и в 1914 году поселились в Дорнахе, чтобы принять участие в строительстве здания антропософского центра – Гетеанума. В 1916 году Белого призвали на военную службу, а потому он вынужден был покинуть и любимого учителя, и антропософскую общину, и, главное, любимую жену: Ася осталась в Дорнахе. От призыва Белый освободился, но война, революция и последующие преобразования Советской власти надолго отрезали его от духовной антропософской родины и обрекли на “жизнь без Аси” (так Белый озаглавил этот период в одном из “автобиографических сводов”). Так что общественная и личная причины эмиграции Белого оказались тесно связаны друг с другом и, в конечном счете, – с антропософией.

Однако надеждам писателя на воссоединение с женой, с учителем, с антропософами-единомышленниками не суждено было сбыться. Ася Белого бросила, на Штейнера он обиделся, с западными коллегами поссо-

рился. Бездна отчаяния и безумия, в которую в результате всего этого погрузился Белый, красочно описана многочисленными мемуаристами, ставшими свидетелями его трагедии. Да и сам он неоднократно рассказывал об этом. Так, яркую картину своего плачевного эмигрантского существования Белый дал в письме от 15 января 1922 года к петербургской приятельнице С. Г. Каплун:

Что сказать о Берлине и обо мне в Берлине? Плохо, очень плохо. В России свет: сквозь трудные дни жизни (во внешнем), свет брезжит в России; а здесь – нет. У меня великолепная комната, покой, пища и все, что нужно для жизни, под руками; а – плохо: так плохо, что с усилием держу себя в Берлине, так душа рвется назад. У меня ряд разочарований: в Штейнере, в Асе, в движении, в себе самом, в пути, во всем; а я – совершенно один: некому высказаться; знаете, Соня, – я стал сознательно пить; невыносимо мне сейчас мое самосознание; хочется его, самосознание, утопить в вине: невыносимо оно. Стал я – пьяницей. Нечем жить в Берлине, – совершенно нечем. И что писать, – не знаю. Встретил Асю, но она – тень прежней Аси, какая-то Эвридика, которую мне, недоорфеившемуся Орфею непосильно вывести из ада антропософских абстракций [...]; пропиваю с горя свои деньги, заработанные в Берлине: плохо, очень плохо! Помолитесь за меня! Скажите Разумнику, что не пишу от душевного горя: завидую русским, находящимся в России.

Меня зовут: писать в антропософских журналах, зовут участвовать в международном конгрессе, – а я – не хочу: что толку в этой внешней суете, когда все внутренне подорвано. Горько живу: живу пьяной жизнью, заглушаю самосознание: слишком тяжело выносить свое "Я" [...]. Христос с Вами! Всем Вашим привет. [...] Любящий нежно Вас Борис Бугаев.⁸

Возвращение Белого из эмиграции в Россию осуществилось тоже, можно сказать, по антропософским каналам. В январе 1923 года в Берлин по заданию московского антропософского общества приехала одна из его руководительниц, давняя знакомая Белого Клавдия Николаевна Васильевна. Суть задания достаточно ясно была сформулирована в материалах следственного дела "о нелегальной контрреволюционной организации антропософов", по которому в 1931 году она проходила:

⁸ Цитируется по рукописной копии, сделанной К. Н. Бугаевой (Васильевой) и находящейся в "Мемориальной квартире Андрея Белого на Арбате" (филиал Государственного Музея А. С. Пушкина). Местонахождение автографа неизвестно: пропал в период, когда С. Г. Каплун находилась в заключении в сталинских концлагерях.

После ликвидации О[бщест]ва, руководители такового на специальном совещании обсуждали вопрос о дальнейшей работе в нелегальных условиях [...] Там же был решен вопрос о необходимости делегировать на предстоящий Съезд антропософов в Германии, одну из руководительниц общества – ВАСИЛЬЕВУ К. Н. со специальным поручением получить установку о том, как строить и вести работу в СССР в нелегальных условиях.⁹

Однако помимо этого официального, “общественного” задания у К. Н. Васильевой было и другое, непосредственно связанное с Белым. О нем пишет в своих мемуарах Петр Никанорович Зайцев, его литературный секретарь, биограф и антропософ:

Друг Бориса Николаевича – Клавдия Николаевна Васильева, жена московского врача Петра Николаевича Васильева, узнав из рассказов Шкапской о положении Белого, сильно встревожилась и, как человек исключительной энергии, немедленно начала действовать.¹⁰

Выбраться из России ей помогли родственные связи. Она действовала через мужа, тоже антропософа и его сестру: Мария Николаевна Васильевна была женой Вячеслава Рудольфовича Менжинского, сотрудника аппарата ВЧК, назначенного в 1923 году заместителем председателя ОГПУ. Об этой операции было хорошо известно в антропософских кругах:

Родная сестра П. Н. Васильева была замужем за В. Р. Менжинским. Повидавшись с этим крупным государственным деятелем и человеком большой культуры, Клавдия Николаевна сумела заинтересовать его судьбой талантливого писателя и получить разрешение на выезд за границу для спасения Бориса Николаевича. По все вероятности, ее появление в Берлине и было для Белого спасением.¹¹

К. Н. Васильева успешно справилась с обоими заданиями: и “представительским”, и “спасительным”. Она укрепила Белого в решении вернуться в Россию, примирила со Штейнером и уговорила не покидать лона антропософского движения. Бросившую Белого Асю она, правда, вернуть не смогла, но в конечном счете заменила Асю собой – стала второй

⁹ Спивак М. Андрей Белый в следственном деле антропософов // Лица: Биографический альманах. Вып. 9. СПб. 2002, с. 279.

¹⁰ Зайцев П. Н. Московские встречи (Из воспоминаний об Андрее Белом) // Андрей Белый: Проблемы творчества. Москва 1988, с. 561.

¹¹ Зайцев П. Н. Последние десять лет жизни Андрея Белого. Машинопись. Хранится в рукописном фонде “Мемориальной квартиры Андрея Белого на Арбате”. Л. 8-9.

женой писателя. В стихотворении “Сестра” (1926), посвященном К. Н. Васильевой, Белый воспевал красоту их чувств и подчеркивал ту огромную роль, которую она сыграла в его жизни:

Редает мгла, в которой ты меня
Едва найдя, сама изнемогая,
Воссоздала влиянием огня,
Сиянием меня во мне слагая.

Очевидно, что здесь говорится не о погодных явлениях и не о смене времени суток. Под “мглою” подразумеваются полные разочарований годы пребывания в Берлине. А Клавдия Николаевна рассеяла эту “мглу” тем, что, приехала за Белым в Германию и вывезла его на родину.

Н а ч а л о р о м а н а “ Г е р м а н и я ”

Образ Европы, увиденной глазами эмигранта, равно как и образ себя, русского писателя в Европе, Белый начал «отрабатывать» еще будучи в Германии – в письмах друзьям и близким, а по возвращении в Советскую Россию продолжил эти образы оттачивать. Вину за перенесенные в эмиграции страдания и унижения он целиком возлагал на Запад с его “не тем” образом жизни и “не той” ментальностью, “не той” антропософией. В зеркале сознания Белого Европа приобрела резко негативные черты. Себя же в Европе писатель воспринимал как лицо трагическое и страдающее. Выпущенный вскоре после приезда сборник эссе “Одна из обитателей царства теней” (1924) представлял собой жесткий приговор культуре и политике буржуазного Берлина. Автобиографический очерк “Почему я стал символистом и почему не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития” (1928) был направлен прежде всего против немецкой антропософии.¹² Обличительный пафос этой работы Белого вызвал негативную реакцию как в среде русских антропософов, продолжавших ориентироваться на Запад,¹³ так и среди антропософов-эмигрантов. Так, одна из них с возмущением сообщала в Дорнах:

¹² Автобиографический очерк “Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития” не предназначался Белым для печати, а распространялся в списках и “перепечатках” среди друзей и знакомых; был опубликован посмертно.

¹³ См. отзыв С. Г. Спасской в письме к Андрею Белому от 20 октября 1928 г. (Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Москва 1999, с. 421-429).

У Бориса Николаевича опять нелады и шумы, так как он написал [...] по оценке друзей книгу недопустимую. Клодя (московская Васильева) его отстаивает. Сколько можно судить, он по-прежнему занят собой, а она – гениальным человеком. [...] Нам здесь тоже много хлопот с ним, уж очень он испортил моральный облик движения и слишком много разбросал так называемых эзотерических тайн (это – ужас! Когда-нибудь напишу подробно).¹⁴

Отражение эмигрантских переживаний Белого обнаруживается и в его художественной прозе – в романной трилогии “Москва” (“Московский чудак” – М. 1926; “Москва под ударом” – М. 1926; “Маски” – М. 1932). Например, в кульминационной сцене пыток профессора Коробкина, главного героя трилогии. На присутствующий в произведении “берлинский” след писатель недвусмысленно указывал в работе “Почему я стал символом...”:

Мне не раз говорили: “Неужели вы не могли обойтись без ужасной сцены истязания в вашем последнем романе; она – жестока”.

Теперь, когда и роман позади, отвечу на эти слова *правдивым ответом*, [...] сцена истязаний профессора – лишь объективизация в образе, вставшем передо мною, того, что сидело во мне, с чем я был соединен; эти *истязания* во мне разыгрывались; мне казалось в Берлине, что меня *истязают*; с переживаниями 1922 года связывались переживания вереницы лет [...] и в 1922 году воскликнулось: за что терзают *меня?*¹⁵

Непосредственно Западу должен был быть посвящен роман “Германия”, который Белый собирался написать в 1930-е годы, но не написал.¹⁶ Как недавно стало известно, произведение должно было открываться символической сценой, в которой автор хотел дать обобщенный образ той страны, в которой жил и страдал в период эмиграции. Этот образ и будет объектом нашего дальнейшего рассмотрения.

В записных книжках Григория Александровича Санникова, пролетарского писателя, сблизившегося с Белым в начале 1930-х, сохранился конспект

¹⁴ Письмо М. Э. Белоцветовой к М. Я. Сиверс от 20 июля [1928 ?].

¹⁵ См. современное издание в кн.: Андрей Белый. Символизм как миропонимание. Сост., вступ. статья и прим. Л. А. Сугай. Москва 1994, с. 486-487.

¹⁶ В октябре 1931 года Белым был заключен договор на роман “Германия” с “Издательством писателей в Ленинграде”. Подробно об этом проекте см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Неосуществленный замысел Андрея Белого (“План романа Германия”) // Русская литература. 1974. № 1, с. 197-200.

их разговора “о фашистах в связи с сообщениями в газетах о кострах на берлинских улицах, где студенты сжигали революционные книги и научные мировые труды”.¹⁷ Возмущение прочитанным погрузило Белого в мир впечатлений, вынесенных из жизни в эмиграции: “Рассказывает в порядке воспоминаний свои переживания и различные случаи, бывшие с ним в Германии, рисует различные немецкие типы, которые вставали перед ним еще в 1921 году во время его выезда на год в Германию, как прообразы фашизма”.

Примечательно, что, по свидетельству Санникова, эмигрантские переживания десятилетней давности и в 1933 году не утратили для Белого своей живости и актуальности: “Вообще любил рассказывать о Германии”. В данном случае в беседе были затронуты творческие планы Белого:

Разговор переходит на литературу, на ее роль в борьбе с фашизмом. Б. Н. делится со мною своим замыслом романа “Германия”, который он задумал написать еще года два назад, заключил даже договор на этот роман в 1931 году [...] но до сего времени не может приступить к работе над ним. Мешает текущая работа....

В романе “Германия”, по плану Белого, придуманное, сконструированное писательским воображением должно было соседствовать с эпизодами, сценами, ситуациями, взятыми из “мемуарного” багажа. Оттуда планировалось извлечь и “ударную” сцену, открывающую произведение:

“Знаете, начало романа мне мыслилось со следующей сценки очень странного порядка, бывшей со мною в Берлине”. – И он рассказывает, как однажды, попав к знакомым в далекий от центра район Берлина, он, по обыкновению, засиделся, заговорился, и, когда вышел на улицу, была безжизненная матовая ночь: ни трамвая, ни автомобиля, ни пешехода. Редкие газовые фонари полумертвым светом освещали пустынную улицу: мрачное пятиэтажье домов-казарм с потушенными окнами. Идя по улице в раздумьях, где заночевать, он вышел на плац с чахлым и сумрачным сквериком. Что за плац это был? Он не помнит его названия. На площади была такая же густая и сумрачная, стиснутая черным многоэтажьем тишина. Он сел на скамейку в скверике, решив тут заночевать. Он – бесприютный пешеход-чужеземец, сидя на скамье, чувствовал себя одиноко в этом мрачном мире Германии [...] Оглядывая плац, он видел обширный квадрат, окаймленный ацетиленовыми фонарями. Каменные тумбы торчали, как

¹⁷ Записные книжки хранятся в частном собрании сына писателя Д. Г. Санникова. Интересующий нас фрагмент приводится им в кн.: Г. Санников. Лирика. Москва 2000, с. 98-101.

пни, бесшумная, бесприютная ночь дремала на ровном полусвещенном асфальте площади.

Тишину нарушало только однообразное, утомительное журчание воды в прилегающем к скверу квадратном пустом и потушенном сооружении писсуара. Он, решивший заночевать в скверике, чтобы несколько рассеяться, потянулся в это квадратное сооружение, столь типичное для берлинских окраин. Когда он вошел в темную бетонную комнату, ему показалось, что в комнате люди, он явственно слышал движения, их быстрый шаркнувший в уши шорох. Он торопливо чиркнул спичкой и в красном вспыхе ее увидел шеренгу людей в котелках и в караковых пальто, обращенных к нему тугими спинами. Они стояли шеренгой и все, точно по условному знаку, в безмолвии делали одно и то же свое... дело. Бросив спичку, он выскочил в скверик, он кинулся на скамейку, обратив глаза на дверь квадратного домика. Но оттуда никто не выходил. "Мне представилось, – говорит Б. Н., – что там собрание каких-то заговорщиков, о которых пока ничего не знает мир, но о которых скоро узнают все. С этого эпизода я хотел начать свой роман "Германия". Теперь мне ясно, кто они были такие. Так зарождался в Берлине фашизм...

Итак, символом Германии для Белого становится пугающий гротескный образ: ночь, квадратный плац, общественный туалет и, главное, люди в котелках, которые притаились в писсуаре и "в безмолвии делали одно и то же свое... дело".

"Брюнет в котелке"

Трудно определить, что той темной берлинской ночью Белый действительно увидел, а что его больному воображению привиделось. Могло привидеться все, от начала и до конца. В пользу этого говорит тот факт, что похожий кошмар преследовал Белого на протяжении многих лет. Ядро этого давнего образа-символа – "брюнет в котелке". Подобный персонаж фигурирует в повести "Записки чудака", в которой рассказывается о жизни в Дорнахе и о том, как в 1916 году автобиографический герой ехал из Швейцарии в Россию через страны воюющей Европы. Повесть была написана в 1918 году и печаталась в альманахе "Записки мечтателей" (1919 № 1; 1921 № 2/3). Однако Белый продолжал ее дорабатывать и дополнять уже в эмиграции: в 1922 году "Записки чудака" вышли отдельным двухтомным изданием:

В "Записках чудака" социально-психологическую причину появления "брюнета в котелке" Белый объяснял обстоятельствами жизни в Дорнахе, где русские были на подозрении у немецких властей, и нервной

обстановкой, возникавшей при пересечении границ воюющих. Белый тогда боялся, что его как русского могут обвинить в шпионаже или, еще хуже, приписать ему некие преступления, которых он не совершал. Ему мерещилась слежка, которую и осуществлял таинственный “брюнет в котелке”:

...замечаете вы, что б р ю н е т в к о т е л к е заблуждал вслед за вами.¹⁸

По утверждению Белого, сыщик привязался к нему еще в Дорнахе и преследовал вплоть до Москвы:

Переползал хвост людей к роковому барьеру: к осмотру! И медленно передвигались мы, сжатые им; на спине, на затылке, на шее своей ощущал я прилипшие взгляды [...]

Я – обернулся: глаза мои встретились с горбоносим брюнетом: –

– брюнет
в котелке!

Тем брюнетом он был, кто стоял еще в Дорнахе на перекрестке дорог наблюдая за виллою Штейнера и за окнами нашими, – приседая, покуривая, неподалеку от спуска у купы деревьев; бывало, иду, – укрывает лицо свое он. Его видывал в Цюрихе: поселился в моем отеле, – стена со мной в стену; и вел себя тихо; и, просиди в своей комнате я целый день, я следов за стеною не мог обнаружить.

Ловил меня в поезде; он садился в вагоне не рядом, – а наискось, где-нибудь в уголке: весь укрытый в тени: –

– отдавалась душа пейзажу летящих долин, деревень с обрамляющими их горами, покрытыми виноградниками, –

– прилипающий взгляд обжигал мне затылок; повертываясь, обнаруживал я: –

– черный глаз, кончик уса и сбитый на бок головы котелок.

– Я старался с презрением относиться к сопровождающей личности, – обволакивалась беспокойством душа; стоило невероятных усилий, чтобы не сделать сидящему спутнику маленькой гадости: проходя, не задеть край газеты.

Лицо моего незнакомца (слишком знакомого!), спутника, я не мог обнаружить: усы, нос горбом, пуговица вместо глаз – вот все.

Появление б р ю н е т а сопровождалось каким-то особенным физиологи-

¹⁸ Белый Андрей. Записки чудака // Белый Андрей. Собрание сочинений: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. Под ред. В. М. Пискунова. Москва 1997, с. 291. Далее “Записки чудака” будут цитироваться по этому изданию с указанием страницы в тексте

ческим ощущением, напоминающим вспышку невроза: вываливаясь из груди, трепыхалось на сонных артериях сердце, как птица, – на мне!

На французской границе, уткнувшись лицом в незнакомца, я чувствовал, что припадок невроза, которым страдал, – поднимается: в то же мгновение котелок подлетел над замасленным коком волос; горбоносый брюнет произнес:

– “Честь имею представиться” (с. 340).

В “Записках чудака” не только достаточно точно датируется появление этого “прилипчивого” кошмара (1914-1915), но и описывается первая встреча с ним:

Я рассматривал в базельской галерее гравюры Гольбейна; особенно серии “смерти”: скелет плутовато вплетался в события жизни; им – плутовато подмигивал... –

– С этой поры привязался за мною б р ю н е т : я его подцепил как-то раз в переулочке [...] вместе мы ждали трамвая; его – привез в Дорнах, который, как кажется, полюбился ему: он простаивал на перекрестке дорог, неподалеку от спуска; часами глядел в наши окна: узнавши, что я собираюсь в дорогу, собрался и он; и теперь здесь в вагоне... (с. 365).

В мемуарах “Между двух революций” “брюнет в котелке” тоже упоминается. Но на этот раз Белый относит его появление к еще более раннему времени:

Переживания, напоминающие заболевание, долго жили во мне; начались же они в Москве, с осени 1908 года: имажинацией некоего мирового мерзавца, впоследствии пережитого, как образ мне неизвестного миллиардера, непременно масона.

Для описания “некоего мирового мерзавца” Белый прибегает к цитатам из уже опубликованных к тому времени произведений, в частности, из “Записок чудака”: “Сер” этот – “ставши серым, блиставшим мерзавцем, глазами своими хотел изомститься” (“Маски”, с. 216). “Господин в котелке, высылаемый *сером*, старается оклеветать мои действия...; бытие мое есть неприличнейший крик перед жизнью, уже обреченной на гибель... *Они* ненавидят меня...; их мечи – клевета и инфекция моих состояний сознания ядами” (“Записки чудака”, т. I, с. 78). “В таких болезненных образах передо мною встала химера ужасного *сера*, повара войны, меня ненавидящего”.¹⁹

¹⁹ Белый Андрей. Между двух революций. Подг. текста и коммент. А. В. Лаврова. Москва 1990, с. 283-284.

Следует отметить, что все периоды, отмеченные появлением «брюнета в котелке», были для Белого периодами психологических кризисов и срывов, периодами серьезного душевного нездоровья. Эту закономерность отмечал и сам Белый, честно указывая, что «брюнет в котелке» во многом является персонажем его стародавних «бредов», порождением больного сознания. Однако в данном случае нас интересует не история психических недугов писателя, а его образность, неважно чем вызванная к жизни.

Итак, «брюнет в котелке» сопровождал Белого с 1908 года, переезжая за ним из Москвы в Дорнах, из Швейцарии в Англию, Францию и вновь в Россию, чтобы потом вновь воскреснуть в начале 1920-х годов в Берлинском писсуаре. Во всех трех случаях – и в сцене, предполагавшейся для начала романа «Германия», и в «Записках чудака», и в мемуарах «Между двух революций» – «брюнет в котелке» связан с заговором. Он страшен не сам по себе, а тем, что принадлежит к могущественному братству и действует по заданию некой организации. Братство это во всех трех случаях тайное и международное.

В мемуарах это масонство:

...мысль о тайных организациях во мне оживала; об организациях каких-то капиталистов (тех, а не этих), вооруженных особою мощью, неведомой прочим; заработала мысль о масонстве, которое ненавидел я.²⁰

В «Записках чудака» это «международное бюро сыска»:

Тогда: появляются представители международного сыска (в международное бюро сыска, наверное, входит по представителю всех стран, и разведка и контрразведка, встречался тут, благодушно работают вместе); международные сыщики, вероятно, для вида заведуют предприятием: гера, мосье или сэра; так своры агентов, как своры борзых, направляются быстро по свежим следам [...]; около вас – соглядатай: б р ю н е т в к о т е л к е . Он доносит на вас: полицейский надзор установлен за вами: улики – подобранны (с. 290-291);

Принадлежал он к чему? К международному обществу сыщиков? Или – к братству, подстерегавшему все нежнейшие перемещения сознаний, чтоб их оборвать? (с. 347).

Во всех трех случаях заговорщики представляют серьезную угрозу культуре, цивилизации, человечеству; они ведут мир к войне. Но «брюне-

²⁰ Там же.

ты в котелках” не видны простому взору, а потому окружающие отмахиваются от предостережений Белого, считая их пустой фантазией, бредом. Лишь время, настаивает писатель, подтверждает обоснованность его тревог. Белый вообще любил подчеркивать свой дар предвиденья.

Так, в “Записках чудака” он указывал, что в слежку в Дорнахе не верили даже самые близкие ему люди; дорога же в Россию неопровержимо показала реальность существования “шпики”. В мемуарах “Между двух революций” Белый отмечал, что смысл мучивших его страхов, в том числе и страха перед “сером”, стал понятен только годы спустя, с началом мировой войны: “...теперь обнаружено документами: мировая война и секретные планы готовились в масонской кухне”.

В “германском” эпизоде “шеренга людей в котелках” также “представилась” Белому “собранием каких-то заговорщиков, о которых пока ничего не знает мир, но о которых скоро узнают все”. В беседе с Санниковым Белый также настаивал на том, что и это его предвидение подтвердилось: “Теперь мне ясно, кто они были такие. Так зарождался в Берлине фашизм”.

В отличие от “брюнетов” из “Записок чудака” и мемуаров, “брюнетам” из берлинского писсуара недостает внятно проговоренной “мистической” характеристики. В беседе с Санниковым Белый прежде всего указывает на политический аспект этого образа-символа, тогда как в других случаях доминирующее значение имеет именно мистический аспект.

Так, в мемуарах “Между двух революций” акцентируется мистическая природа масонства, тайно управляющего обществом, а потому – мистические причины возникновения войны:

...я пережил свой полон как “мистический” заговор неведомых “окультистов”, отравляющих своей эманацией все [...] Ужасы капитализма осознавал я всегда [...] и не совсем верил я, будто ужасы эти – механический результат социального строя; мне виделся заговор; чудилось: нечто крадетя со спины; виделся почти “лик”, подстерегающий в тени кабинета [...] Есть еще, стало быть, что-то, присевшее за капитализмом, что ему придает такой демонский лик.²¹

То же самое и в “Записках чудака”, где Белый выявляет оккультные истоки слежки и интерпретирует происходящее как мистическую атаку темных сил на антропософов вообще и на собственное светлое духовное “Я” (в терминологии Белого, – “младенца”) в частности:

²¹ Там же, с. 282-283.

Гонения – начинаются; войны Ирода – рыщут:

– “А где тут м л а д е н е ц?”

Брюнет – появляется.

Наши столичные улицы – осуществленная, черная месса; брюнет в котелке здесь — икона; иконы свои – поразвесило черное братство на стенах домов, где брюнет в котелке, размалеванный нагло на боке стены, –

– с высоты шестиэтажного дома, осклабясь, показывает на калошу проходим; и на калоше – священнейший знак треугольника (с. 349).

Международное братство сыщиков именуется “Черным интернационалом”. И главной ареной слежки, борьбы и войны оказывается, по Белому, пространство астральное:

Если же в бессознательном состоянии сна повстречался я с бессознательным состоянием сна представителя сыска в Германии, то эта встреча подстроена: каким-нибудь гером или сэром – как знать, проживающим, может быть, в своем замке в Шотландии и меня не выдавшим, но несомненно отметившим миг моего возрождения; по дрожанию стрелки сейсмографа, им поставленного туда; т а м (в астрале) поставлены аппараты, подобные минам: поставлены так, что едва душа вынырнет из повседневного сна и раскроется, как цветок, по направлению к свету: как... – выстрелит мина; и с э р сообщит, куда следует, что родился “младенец” (с. 369).

Отсутствие в записях Санникова четко обозначенного мистического “диагноза” увиденному легко объяснимо тем, что Санников, молодой коммунист и человек далекий от антропософии, был просто не тем собеседником, с которым Белый вообще когда-либо говорил на оккультные темы. Кроме того, сцену в писсуаре Белый обрисовывал беседе лишь контурно и изолированно, вне связи с образной системой всего романа, еще не только не написанного, но и в деталях не додуманного. Скорее всего этот мистический компонент появился бы. Даже имеющегося краткого конспекта достаточно для того, чтобы увидеть в сцене, ставшей для Белого образом-символом Германии, мистический потенциал.

Он связан с целым рядом деталей и, в частности, с цветовой аранжировкой рассказанного – все происходит в таинственной, пугающей атмосфере берлинской ночи. Строго говоря, Белый нигде не указывает, что люди в писсуаре были брюнетами, он просто погружает их в зловещий мрак. Думается, что этот мрак так же символически и мистически значим. Его интерпретация дается опять-таки в “Записках чудака”:

Что мне внушало панический ужас в брюнете? Ведь не его я боялся: того, что глядит сквозь него, что однажды, прорвав его видимый лик, из него на меня хлынет черным потоком; тот черный поток при внимательном

взгляде оказывался пустою, отсутствием какого бы ни было цвета; его чернота есть пролом: в никуда и ничто; он – открытый отдушник, в который нам тянет угарами невероятного мира, по отношению к которому наш мир жизни ничто; и не только наш мир, но и образы чисто духовной действительности, в нас коренящейся, суть ничто; это – ч т о-т о, в ничто обращавшее все, что ни есть (мир мистерии, мир души и мир духа), по отношению ко всему, что ни есть, при своем появлении в плоскость сознания нашего обнаруживает, как сплошное ничто, явление свое.

И, стало быть: сыщик ничто, принадлежащий к секретному братству, вводящий ч т о-т о, по существу нам неизвестное и стучащееся в наши двери, как ужас ничто, – для меня был ужасен не ч е м-н и б у д ь, что он нес, а – ничем (с. 366).

Не исключено, что подобный же страх “черного пролома” в “ничто” Белый пытался передать в рассказанной Санникову сцене. Более того, идея угрожающего “ничто” в ней усилена тем, что люди в котелках увидены только со спины – они без лиц и потому еще более пригодны для выражения безличной, мистической, астральной угрозы.

И еще один нюанс. Любопытно, что в “Записках чудака” встреченный в Европе брюнет оказался в конце концов русским – он представился доктором из Одессы. Но тогда для Белого национальное происхождение брюнета значило гораздо меньше, чем его связь с могущественным международным братством:

...был сыщиком он международного общества сыщиков, руководимого братством, которое, проветываясь в среде сыщиков, международных, ветвилось в среде национального сыска; руками германских, французских, английских и русских жандармов подписывало во всех участках всех стран все бумаги, визировало паспорта; и – так далее, далее организуя в Париже, Берлине, Стокгольме, Москве, Петербурге общественную, кружковую и личную жизнь, пропитав ее ядами (с. 348).

В рассказе, записанном Санниковым, Белый придал своему давнему кошмару ярко выраженный национальный оттенок. Немецкое – в традиционном русском понимании – подчеркнуто в целом ряде деталей. Это прежде всего немецкий порядок – унылый и пугающий. Он проявляется в одинаковой одежде людей в писсуаре и в их одинаковом, организованном, ритуализированном поведении: стояли шеренгой, “точно по условному знаку, в безмолвии делали одно и то же свое ...дело”. Немецкий стиль зафиксирован в описании городского пейзажа: “мрачное пятиэтажье домов-казарм”, плац – “обширный квадрат, окаймленный ацетиленовыми фонарями”, писсуар – “квадратное сооружение, столь типичное для берлинских окраин” и т. д.

Что? Где? Когда?

В записанном Санниковым рассказе Белый подчеркивал, что не знает, где произошло его столкновение с мистический “немецкой угрозой” в виде людей в писсуаре: “Что за плац это был? Он не помнит его названья”. Не указывает Белый о том, откуда он шел и куда. Думается, что эта географическая неопределенность входила в писательский замысел – ведь он хотел поместить в начало романа не натурный пейзаж, а сцену-символ, обобщенный образ Германии. И тем не менее, несмотря на отсутствие авторских “подсказок”, можно предположить, где рассказанный Санникову эпизод мог произойти – в реальности или писательском воображении.

В 1922 году Белый жил в Цоссене и там его однажды навестила Марина Цветаева. Впоследствии в мемуарном очерке “Пленный дух” она дала достаточно подробное описание этого мрачного берлинского предместья:

Пустынно. Неуют новорожденного поселка. Новосотворенного, а не рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили – стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые. Постройки, а не дома. [...] И странное население. Странное, во-первых, чернотою; в такую жару – все в черном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции). В черном суконном, душном, непродышанном. [...] Наконец – дом [...]. Барак, а не дом. Между насестом и будкой.²²

Гостья была поражена неприглядностью увиденного. Угнетен был местом своего “поселения” и сам Белый:

Как вам здесь нравится? Мне ... не нравится. [...] Не понравилось сразу, как вошел... Уже когда ехал – не понравилось... Говорили, у Берлина – чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенигорода... А здесь ... как-то... голо? [...] И население противное. Подозрительно-тихое. Ступают, точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И – может быть, это под Берлином мода такая? – все в черном, ни одного даже коричневого и серого, все черное, даже женщины – в черном.

Болезненная реакция Белого на действительные странности цоссенской жизни бросилась в глаза даже малолетней цветаевской дочери Але, давшей весьма точный диагноз психическому состоянию писателя: “Очень

²² Цветаева М. Пленный дух // Воспоминания об Андрее Белом. Москва 1995, с. 264.

тихий, очень вежливый, но *настоящий* сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?».

Естественно, что странная атмосфера Цоссена привела Белого к мыслям о некой скрытой за всем этим страшной тайне, угрозе, направленной против него. Своими подозрениями писатель не преминул поделиться с гостей: “В этом что-то (отрясаясь)... зловещее? Может, это какой-нибудь *особенный* поселок?”; “Уложили. Привезли. Очевидно – так пужно. Очевидно, это *кому-то* нужно”.²³

Цветаева, хоть и сама была немало Цоссеном озадачена, тем не менее постаралась как-то успокоить Белого, дав первое пришедшее на ум объяснение увиденному: “Нет, нет, после войны – везде так”. Ее интерпретация была малоубедительна и носила прежде всего “терапевтический” характер. В ноябре 1922 года в письме Борису Пастернаку та же Цветаева дала иное, более правдоподобное объяснение: Белый жил “в поселке гробовщиков и, не зная этого, невинно удивлялся: почему все мужчины в цилиндрах, а все дамы с венками на животах и в черных перчатках”.

Белый, однако, в беседе с Цветаевой, как казалось, вполне удовлетворился предложенной успокоительной версией и даже с энтузиазмом стал ее развивать, мотивируя то, что по-прежнему оставалось непонятным, спецификой немецкого менталитета:

Он, явно облегченно:

– Ах! значит – вдовы и вдовцы? Отдельный поселок для вдов и вдовцов... Как это по-немецки... по-пруски... И как по-немецки, что они не догадываются пережениться и одеться во что-нибудь другое... Теперь я понимаю и венки, это обилие венков и букетов – совершенно необъяснимое при отсутствии цветов, – потому что цветов, вы заметили, нет, потому что – садов нет, только сухие дворы. Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек... Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц... Впрочем, понятно: постоянные поминки... Как с кладбища, так поминать – сосисками и пивом, помянули – опять на кладбище! Но так ведь поправиться можно! Ожирение сердца нажить – с тоски!

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, – в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, *они* на могилу ездят целыми фурами, фургонами... Вы таковых не встречали? Полные фургоны черных людей...

²³ Там же, с. 268.

Немецкий корпорационный дух: и слезы вместе, и расходы вместе... Вдовье место, вдовцово место, противное место...

Не трудно заметить, что Цоссен в изображении Цветаевой очень похож на то место, где произошла зловещая почная встреча Белого с людьми в писсуаре. Переключки есть и в описании безжизненной архитектуры, и описании жителей – их черного одеяния, их коллективизма, ритуальности поведения и т. п.

И последнее. Любопытно, что во время пребывания Цветаевой в цоссенской квартире Белого в разговоре хозяина и гости была затронута и та пикантная тема, которую предполагалось гротескно обыграть в начальной сцене романа “Германия” – тема туалета. Проблема возникла в связи с естественными потребностями цветаевской дочери:

Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая:

Ма-ама!

Я, с самонасильственной простогой:

– Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно.

– Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно. Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее:

– Ей в одно местечко нужно.

Опять-таки, к удивлению Цветаевой, “местечка” в цоссенском доме не оказалось – в квартире не было никаких удобств, в том числе самых необходимых. Вероятно, не решившись послать девочку в общественную уборную, Белый отправил ее просто на улицу:

– А-ах! Этого у нас нет. Местечка у нас нет, но место есть, сколько угодно – все место, которое вы видите из окна. На лоне природы, везде, везде!

Наверное, от смущения он сопроводил свой совет антизападнической сентенцией:

“Это называется – Запад (шипя, как змея:) цивилизация”.

Зафиксировала Цветаева и, в продолжение темы, бурные сетования Белого на отсутствие в квартире ванны, душа, условий для умывания:

– Конечно, Пушкин писал своего “Годунова” в бане, – говорит Белый, обозревая со мной из окна свои цоссенские просторы. – Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал за баню! (Шепотом, стыдливо улыбаясь:) Я же ведь здесь совершенно перестал мыться. Воды нет, таза нет – разве это таз? Ведь сюда – только нос! Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин, оттого я так часто и езжу в Берлин и в конце концов ничего не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо, мне нужно ехать в Берлин!

Можно, конечно, посчитать “гигиеническое” признание Белого некоторым художественным преувеличением. Однако, как кажется, в нем достаточно точно отразились и реалии цоссенского градостроительства, и реальные бытовые проблемы цоссенского существования Белого. Очевидно при этом, что даже частые поездки в Берлин не могли удовлетворить всех его нужд. Скорее всего, в повседневной жизни Белый был вынужден регулярно посещать такое достижение западной цивилизации “квадратное сооружение, столь типичное для берлинских окраин” – то есть, общественный туалет.

Скорее всего, после обычного для Белого-эмигранта позднего и не всегда трезвого возвращения из Берлина в Цоссен, перед отходом ко сну, он заглянул за “дверь квадратного домика” и чего-то там испугался. Цоссенский страх наложился на образ давно преследовавшего писателя кошмара (“брюнет в котелке”) и надолго запомнился. Спустя десятилетие контаминация этих двух образов, цоссенского и “стародавнего”, нашедшего отражение в “Записках чудака”, породила гротескную символическую сцену, которая, по замыслу писателя, должна была открывать будущий роман и служить символом той Германии, которая отпечаталась в зеркале сознания Белого-эмигранта.